**В. Быков «Очная ставка»**

Ночью в гарнизонной караулке, расположенной в одном здании с гауптвахтой, продолжалась размеренная караульная жизнь.

С вечера, когда приносили ужин, долго слышалась невнятная солдатская возня с раздачей–дележкой пищи, незлобивая перебранка караульных и окрики сержантов–разводящих. Из–за грубой, неплотно подогнанной двери в камеру проникал тошнотворный запах теплой перловки, постепенно сменяемый резким запахом махорки. Но это уже с другой, дворовой стороны, где возле уборной в углу была оборудована курилка со вкопанной посередине бочкой. Там же спустя полчаса раздавалась негромкая команда разводящих, строивших смены, и за ней — металлическое клацание заряжаемого оружия. Потом на какое–то время наступала почти глухая тишина, пока во дворе не появлялась первая прибывшая с постов смена; команды и звякание разряжаемого оружия повторялись в прежнем порядке.

Со временем звуки в караульном помещении глохли, по–видимому, там затворяли дверь — караульные готовились к отдыху. Хотя по уставу освободившейся смене полагалось пару часов бодрствовать, вряд ли это уставное требование ночью выполнялось. В лучшем случае кто–то из солдат усаживался за домино или шашки, кто–нибудь принимался за письмо на родину. Остальные, не снимая шинелей и бушлатов, свесив с нар обутые ноги, откидывались на спину кемарнуть, пока не настала пора проверяющих. Проверяющие обычно являлись вечером или под утро. Булавский это знал по собственному, еще довоенному опыту, когда сам был курсантом, а потом комвзвода инженерной школы и немало походил в наряды. Вряд ли за годы войны в этом смысле что–либо изменилось, думал он, вытянувшись на полу своей смрадной и тесной одиночки.

Сон к нему долго не шел, и он лежал с открытыми глазами — тусклый свет высоко подвешенной лампочки ему не мешал. Накрываться брошенной на цементный пол измятой шинелью не было надобности, в камере с вечера держалось тепло. Есть ему не хотелось, постоянно мучила неизвестность, донимал неотвязный арестантский вопрос — за что? Но следователи умело скрывали ответ на него, и лишь после третьего или четвертого допроса стало кое–что проясняться. Каждый допрос начинался с требования назвать свою настоящую фамилию, и, когда он называл, наступала непонятная пауза. Эта пауза позволяла ему кое о чем догадаться.

Так было и на вчерашнем допросе в СМЕРШе, который проводил веселый молодой капитан с эмблемой связиста на золотых погонах. Фамилия его, как понял Булавский, была Терехин (по крайней мере, он так подписал составленный им протокол — после того, как там расписался подследственный). Задав вопрос о фамилии, следователь впился в него нагловато–проницательным взглядом и, когда он ответил, неопределенно гмыкнул: “А чем докажешь?”. Доказательств он не имел, свидетелей тоже, наверно, потому и очутился в СМЕРШе. “Что ж, очная ставка покажет”, — сказал капитан, убирая со стола бумаги.

Это был третий арест Булавского за его тридцативосьмилетнюю жизнь. Первый раз он сидел на гауптвахте за глупую мальчишескую выходку — закурил в коридоре возле красного уголка в казарме и попался на глаза старшине роты. Отсидел всего трое суток, но долго помнил свой курсантский позор, навсегда зафиксированный в его дисциплинарной карточке. Второй раз пришлось похуже, казалось, из карцера — прямой путь в лагерный крематорий. Но Бог или случай миловали: потребовались специалисты для строительства пресловутого Атлантического вала, а его инженерная специальность значилась в аккуратной немецкой лагерной картотеке. И семь суток спустя он уже ехал в переполненном зеками вагоне к бельгийскому побережью, где его ждали, впрочем, все те же вагонетки с породой — от каменного карьера к бункерам.

Казалось немного странным, что война для него началась и закончилась на строительстве оборонительных сооружений — сперва советском, а затем немецком. Хотя странного тут было немного, если учесть его военно–инженерную специальность. Странным было другое.

Наверно, в свой горький час он приметил эту закономерность — почти парадоксальную связь между надеждой и ее осуществлением. По крайней мере, у него всегда выходило так, что с исчезновением надежды ситуация резко поворачивала к более–менее благополучному исходу. И напротив: чем основательнее была надежда, тем горшая беда обрушивалась на его голову. К сожалению, эту странную закономерность он осознал поздно, наученный чередой многих несчастий, когда какой–либо урок из нее извлечь было уже нельзя. Разумеется, многое можно было объяснить войной или, может, особенностью собственной судьбы. Хотя, если разобраться, в его личной судьбе не было ничего особенного, она была, как у многих, — с общим большим несчастьем и маленькими иллюзорными радостями. Вспомнив теперь одну из них, он лишь криво усмехнулся — чему порадовался! Недолго грела она, та его радость, а потом и вовсе исчезла...

Но тогда она была — молодая и звонкая, как утренняя песнь жаворонка над весенним полем. Да она и застала его в поле, в котором у подножия холмов расположился палаточный лагерь инженерного батальона, занятого строительством укрепрайона. Из растворного узла, где с утра пропадал Булавский, его позвали в штабную палатку к телефону, и до боли знакомый, радостный голос жены сообщил, что они с дочкой наконец добрались до его места службы. Доехали хорошо, обе здоровы и, хотя устали с дороги, надеются вечером увидеться с ним в гарнизоне — километрах в десяти от его строительства. Жену и дочь он не видел с весны, когда срочно уехал сюда, а они остались в военном городке под Минском, где он служил прежде. Он сказал, что непременно постарается к ним вырваться — вечером или, возможно, ночью. Положив трубку, стал напряженно думать, как это сделать. Вырваться было непросто — всякие отлучки с объектов строжайше запрещались. Но, может, как–нибудь... На стройплощадке он разыскал сослуживца политрука Лузгина, которого попросил о дружеской услуге — на случай проверки прикрыть его самоволку. Лузгин был человек сговорчивый — да и кто в такой ситуации мог бы отказать другу? Тем более что неделю назад Булавскому присвоили звание военинженера III ранга, и ему, разумеется, помимо всего не терпелось предстать перед женой в новом звании. Кто знает, — может, в последний раз. С запада явно надвигалась большая буря, в которой как бы не сгинуть обоим.

...Но вот он выжил и вернулся.

После тяжелого ранения, плена, чудовищных армейских шталагов и не менее страшных концлагерей он вернулся на родину — без воинского звания, без партбилета, с измученной душой, но живой. И тут встал вопрос: стоило ли возвращаться? Не лучше ли было бы, как многие миллионы, истлеть в земле или превратиться в лагерный пепел? Так нет — выжил. И кого тем осчастливил?..

Жестокая военная судьба отнеслась к нему наиболее хищно — мало ему было всех его прежних бед, так она уготовила ему еще и арест. Не взяли год назад в фильтрационном лагере под Дормштадтом, так спохватились теперь. А может, его использовали как приманку? Поступали же так с теми, кого подозревали в сотрудничестве с немцами. Он не сотрудничал, но подозревать могли каждого, кто находился в плену. Хотя кого он мог приманить? Ждали, пока успокоится? И он действительно стал успокаиваться, врастать в мирную жизнь: нашел квартиру, устроился на работу и даже получил продуктовые карточки. И тогда взяли.

Нет, все–таки, наверно, сто раз был прав тот особист–следователь, который допрашивал его после возвращения из английской зоны, — почему не застрелился? Почему сдался? Сперва Булавского удивил этот каннибальский вопрос, он даже смутился, стал что–то объяснять про ранение и обстановку. Но теперь, в бараке, после четвертого или пятого допроса подумал: а в самом деле! Не лучше ли для него было бы застрелиться? Тогда или, может, теперь? Но тогда у него был пистолет, а теперь ничего не было, как застрелишься?

Если бы он обладал способностью предвидеть хотя бы свое ближайшее будущее, то действительно было бы лучше пустить себе пулю в лоб и навсегда остаться в том сосняке на краю истоптанного жнивья. Если бы знать! Но кто может знать свое будущее? Велика сила незнания. Она будоражит сознание и вынуждает страдать. Как вот нынче, в ожидании очной ставки.

За стеной вдруг что–то задвигалось, послышались шаги, прозвучала команда, и арестант догадался, что пришел проверяющий. Усердные караульные проверяющие — всегда сущее наказание для караула, особенно его начальника, — он это помнил по своей военной юности. Не дай бог, если проверяющий из политорганов или штабной чин — застанет начкара спящим и занесет данный факт в караульную ведомость. Эта запись затем перекочует во все последующие характеристики и будет квалифицировать серьезнейшее из преступлений — потерю бдительности. Булавский никогда не спал в карауле и вроде бы не терял бдительности, всегда имел только положительные характеристики, но это никоим образом не отразилось на его судьбе. Его служба в одночасье и навсегда рухнула, и из образцового службиста он превратился в ничто. Пленного, инвалида, а теперь еще и арестанта, в неясных целях присвоившего себе чужую фамилию. Но почему? Кто в том повинен? Гитлер, война, особенные обстоятельства, в которых он очутился? Или, может быть, сам и никто более?

Может быть, и сам тоже.

В тот знойный июньский день немецкие самолеты с самого утра беспрепятственно утюжили отступающие на восток войска, бомбя и с бреющего полета расстреливая людей и транспорт. Это была, может, десятая по счету бомбежка за день, из колонны инженерного батальона уцелело всего три машины, на одной из которых ехал комбат Булавский. Он устал каждый раз при налетах убегать в поле, прятаться, тем более что от пулеметного огня сверху спрятаться было негде. Когда после полудня на дорогу обрушился десяток “Юнкерсов”, он лишь соскочил с подножки грузовика и свалился в придорожную канаву. Тотчас перед машиной пыльно вздыбился асфальт дороги, и тяжелый земляной пласт накрыл его с головой. Сознание сразу померкло, словно он провалился под землю, и сколько пролежал так, неизвестно. Когда сознание вернулось и он стал ощущать себя, долго не мог сообразить, где он и что с ним случилось. С трудом раскрыв запорошенные песком глаза, увидел над собой спокойное звездное небо с задранным концом Большой Медведицы и расслышал невнятные голоса рядом. Один из них показался ему знакомым, он напрягся и тихо позвал: “Лузгин...”. Голоса разом умолкли, затем над ним появился темный силуэт в каске, боец опустился на корточки и потрогал его за плечо. “Товарищ политрук, то — комбат...” Вскоре рядом с первым появилась черная тень второго, который окликнул его, и Булавский облегченно простонал — это действительно был Лузгин. Вдвоем с бойцом они вытащили Булавского из земляного завала и, отнеся в сторону, уложили на влажной под утро траве. У него оказалась разбитой осколком нога, полный сапог крови; кровью были густо пропитаны брюки и весь левый бок. Булавский чувствовал себя скверно, от боли и потери крови то и дело терял сознание. Наспех перетянув брючным ремешком ногу выше колена, они понесли его прочь от дороги, на которой с часу на час могли появиться немецкие танки или мотоциклисты.

В абсолютной темноте безлунной ночи они выбрались на какую–то полевую тропинку. Сперва его нес на закорках боец, который, выбиваясь из сил, то и дело останавливался, поправляя его сползавшее тело. Наконец он остановился вовсе, раненого взвалил на свои плечи Лузгин. Из торопливого разговора выяснилось, что политрук уезжал из укрепрайона последним, с замыкающим транспортом, и Булавский спросил о судьбе семей комсостава. Он беспокоился о своих — жене и дочке, с которыми так и не успел повидаться. Лузгин сказал, что семьи успели отправить по другой дороге, их дальнейшая судьба ему неизвестна. Это сообщение немного успокоило раненого — если по другой дороге, то, возможно, успеют проскочить, думал он; по этой, пожалуй, никому проскочить не удастся. С поля было видно, как по всему ночному горизонту полыхали близкие и далекие пожары — горело на дорогах, возле дорог, горели деревни и поселки — всюду, где проходили войска. В ночи слышался гул далеких канонад — война катилась все дальше.

Когда на востоке заалело небо, они остановились на опушке мелкого сосняка. Лузгин свалил в вересковую поросль едва живого Булавского, рукавом гимнастерки вытер чумазое лицо. “Так мы далеко не уйдем, — сказал он, задыхаясь. — Надо повозку...”

Искать повозку он послал бойца, а сам молча сел рядом, тоскливо оглядывая рассветную полевую даль. Булавский тоже молчал, изнемогая от охватившей все тело боли. Чувствовал он себя все хуже, донимала жажда, но воды у них не было. Над полем широко занималось утро, из–за леса выглянуло красное солнце, а боец все не возвращался. Не дождались они его и к полудню. Спасая от солнцепека, Лузгин перетащил раненого в глубь рощи, где было не так жарко. “Ты уверен, что он приведет лошадь?” — спросил Булавский. “Он может привести не только лошадь”, — ответил политрук, и Булавский понял, что он имел в виду. В его батальоне служило немало бойцов из местных, белорусов–западников, к бдительности по отношению к которым нередко призывало начальство. Что ж, возможно, в этом был резон, думал раненый; начальству виднее. Хотя ему уже не до бдительности, ему бы не загнуться на этом сосновом пригорке.

Жажда донимала, по–видимому, не только Булавского, и, подождав еще немного, политрук сказал: “Ты полежи, я поищу воды”. И, не дождавшись ответа, побрел по опушке — внизу, возможно, где–нибудь был ручей или хотя бы болото. Булавский остался один. Изо всех сил стараясь удержаться в сознании, он дожидался товарища. Солнце тем временем заметно передвинулось в небе, повернуло тень от его сосенки. Было невыносимо жарко, и он с огромным усилием переполз в сторону. Становилось все тревожнее — похоже, оба спутника его покинули. Возможно, сами где–либо попались, а может... Нет, о худшем он боялся подумать, он продолжал надеяться. Надежда его, однако, убывала, а предположение перерастало в уверенность — он остался один.

До самого вечера ни боец, ни Лузгин не вернулись. За это время война откатилась куда–то невообразимо далеко. По небу одна за другой проносились группы немецких самолетов, будоража пространство особенным завывающим гулом; наших самолетов нигде не было видно. В земле то и дело отдавались далекие взрывы бомб. Где–то на востоке порой слышался отдаленный вой моторов — похоже, это шли танки. Булавский не сразу, но сообразил, что влип окончательно, он вытащил из кобуры пистолет, но его ТТ оказался забитым землей, он не сумел его перезарядить и потерял сознание.

На вторые сутки его обнаружили пастушки из ближайшей деревни.

За стеной в караульном помещении все понемногу стихло — наступил самый спокойный, предутренний час ночи. Арестант вроде задремал, чуть смежив глаза. И вдруг снаружи прозвучал испуганный окрик: “Стой, кто идет?” Напрягшись, Булавский вслушался, ответа не разобрал, но несколько минут спустя услышал громко поданную команду: “Караул — в ружье!” По всей видимости, это явился новый проверяющий, возможно, кто–то из начальства. Теперь проверки там хватит надолго, это арестант знал по собственному опыту.

Так оно и получилось. Слышно было, как суетно–поспешно строился караул, потом шел длинный опрос — по–видимому, проверяющий выяснял знание бойцами их караульных обязанностей. Булавский представил, как тот ходит там перед двумя шеренгами сонных бойцов, задает вопросы и дотошно уточняет ответы, то и дело заглядывая в книжицу устава, заложенную между страниц пальцем. В караулы, конечно, он давно не ходил и мог кое–что забыть, ему позволялось заглядывать в книжицу, а вот боец должен знать все. Тем более когда начальник караула — какой–нибудь двадцатилетний лейтенантик, в войну окончивший шестимесячное военное училище.

Потом в караулке часто захлопали двери — похоже, проверяющий отправился на посты, где, надо думать, так же придирчиво будет задавать вопросы подмененным часовым... Может, кого–то снимет с поста. Таких педантов–придир Булавский хорошо знал — изучил за время своей десятилетней командирской службы. Возможно, и сам когда–то был именно таким. Такого рода командиры всегда наиболее ценились в армии — большей частью потому, что других выдающихся качеств за ними не числилось. Своей зачастую нелепой требовательностью они компенсировали отсутствие ума, знаний и многого другого. И в общем преуспевали — такова, наверно, природа армейской службы. Долгое время Булавский считал это в порядке вещей, пока в иных обстоятельствах не столкнулся с иными людьми и иными качествами, каких не было и не могло быть в армии...

Вечером, когда немного смерклось, его, словно мешок с картошкой, перекинули через спину лошади и привезли в деревню. Огородами, чтобы никто не заметил, подвезли к отдаленному овину. Управлялись с ним, как и с лошадью, двое зеленых мальчишек, Миша и Володя; с виду им было лет по тринадцать. Он им сказал, что надо как–то связаться с нашими, красноармейцами, на что они только свистнули — оказывается, наши уже сдали Гродно. Это сокрушительное известие повергло Булавского в смятение, но что было поделать? Он ничего не мог требовать от ребят, только целиком на них положиться, всецело доверить им собственную жизнь. Что он и сделал. И ребята не обманули его. С недалекой станции они привели фельдшера, который обработал рану, перевязал. А главное, фельдшер ободрил его сообщением, что рана серьезная, но не смертельная, — кость не задета, а мясо как–нибудь нарастет. Только нужен покой, двигаться товарищу командиру с такой раной нельзя. Надо подождать.

И он стал терпеливо ждать. Сперва в том овине возле пруда, потом, когда похолодало, ребята переправили его в другое место — как оказалось, на станцию. Предпоследний на улице домик под вязом занимала школьная учительница, учившая этих самых ребят. К ней они его и привезли. Потянулись томительные дни его вынужденного пребывания в каморке–боковушке, на попечении учительницы–польки и ее свекрови, старой белорусской крестьянки. Старушку он называл бабушкой, а к учительнице, как и полагалось, обращался по имени–отчеству — Станислава Викентьевна. Женщин объединяло общее несчастье — на польско–немецкой войне пропал без вести сын старушки и муж Станиславы Викентьевны Юрек, офицер, служивший под Гдыней. После сентября 39-го года о нем ничего не было известно. От этой неизвестности чахла молодая жена, извелась в горе мать. И Булавский подумал вначале, что, пожалуй, попал в неподходящее место, — этим женщинам с избытком хватает своего горя, где им заниматься чужим. Но оказалось иначе. Наверно, собственное горе только обострило способность этих женщин к сопереживанию, советский командир как бы слился с образом родного Юрека. По существу, так оно и было: оба оказались жертвами войны, жертвами фашистской Германии. Разве с той разницей, что один, по всей вероятности, уже погиб, а другой едва удержался на краю гибели.

Вечерами, когда он задыхался в жару, бабушка молча прикладывала к его лбу ледяные компрессы, которые на его голове скоро становились противно–теплыми, ставила на табуретку кружку с водой или холодным молочком из погреба. Его продолжала мучить жажда, он понемногу, но часто пил. Из еды первое время почти ни к чему не притрагивался, потом стал есть картошку, забеленный молоком суп. Пару раз к нему заглядывал фельдшер, но никаких лекарств у фельдшера не было, и бабушка махнула рукой. Она взялась лечить его своими, старинными средствами. “Кали мой девер поранив в лесе руку и завялися черви, так покойник свекор лячив его салом. Каторае соленае. И вылечив, ага, не смейся, правда, — говорила она, обращаясь к скептически усмехнувшейся невестке. — Правду кажу”.

Он поверил. Как же он мог не поверить, как мог возразить? Он знал, как строить мосты, рассчитывать их грузоподъемность, разбирался в марках стали, цемента и многих других военных премудростях. Но в медицине, ставшей теперь для него проблемой жизни и смерти, смыслил мало. Сумел бы перевязать рану, но в нужный момент индпакета у него не оказалось. Пришлось довериться бабке.

И, в общем, произошло чудо. После нескольких перевязок с тонкими ломтиками соленого сала рана его заметно очистилась от нагноения и стала затягиваться. Он повеселел даже, появилась надежда на жизнь. Захотелось узнать, что происходит на войне, где фронт, где наши. Женщины, по всей видимости, мало что знали. Станислава Викентьевна куда–то исчезла, за ним ухаживала бабушка. Несколько раз в боковушку заглядывали ребята, Миша с Володей, но, постояв у двери, скоро уходили.

Но вот однажды вечером, уже в сумерках, он услышал в передней голос Станиславы Викентьевны и насторожился: голос ее показался ему горестно–встревоженным, готовым сорваться на плач. Немного погодя она зашла к нему в боковушку и молча опустилась на табуретку у двери. Так же молча вскинула к лицу руки и зашлась в судорожном беззвучном плаче. Он ждал, ни о чем не спрашивая, и, успокоясь, она заговорила сама. “Муве, большевицы постшеляли польских долнежи...” — “Где постреляли?” — не понял он. — “Муве, постшеляли в России. Тых, цо брали в полон в тшыдзесце девентым року”. — “Не может быть! Может, немцы?” — “Не, муве, большевицы! А пан большевик?” — вдруг спросила она и умолкла.

Он понимал, почему она плакала, — в числе расстрелянных мог оказаться и ее муж–офицер. Но вряд ли такое было возможно, чтобы расстрелять пленных. Хотя... Уже после того, как она ушла из боковушки, он стал думать и кое–что вспомнил из разговоров среди командиров позапрошлой весной. Тогда пришел приказ откомандировать группу саперов в Смоленск для выполнения секретного задания. Эту группу комплектовали в штабе, с ее подбором и инструктажом суетился начальник особого отдела, что, в общем, было не совсем обычно, но тогда на это мало кто обратил внимание, и вскоре мало чем примечательный эпизод вообще забылся. Чтобы вот аукнуться для Булавского таким образом.

Но он не ответил на ее вопрос — большевик ли он. Может быть, впервые он заколебался с такого рода ответом, хотя в кармане его гимнастерки два года как лежал партбилет с аккуратными пометками о взносах. Сказать что–либо определенное этой женщине у него не хватило решимости. А может быть, такта...

Теперь, когда он стал поправляться, его все чаще занимали беспокойные мысли о семье, о жене с дочкой. Где они? Что с ними? Удалось ли вырваться из Белостокского мешка? Где жена нашла пристанище? Родителей у нее не было, где–то под Москвой жил старший брат, может, она пробилась к нему? Мысли об ином, скверном, он упрямо гнал от себя, он ведь так любил свою Нинку — молодой неутоленной любовью. Война и эта чудовищно несправедливая разлука усилили любовь до нестерпимости.

После того случая, когда Станислава Викентьевна не сдержалась от слез, она стала чаще заглядывать в боковушку. Обычно это происходило вечером, когда за окном во дворе сгущались поздние сумерки. Она приносила ему молока или пару яблок из сада и молчаливо останавливалась у двери. Он должен был о чем–то спросить ее, — хотя бы о том, что происходит на станции, и она немногословно отвечала по–польски. Он уже привык за лето к языку поляков, и хотя сам мало что мог сказать на нем, будучи белорусом, понимал все отлично. “Нех пан опове о своей пани”, — тихо попросила она однажды, и он неожиданно смутился. Что он мог рассказать о своей жене? Что она блондинка, высокая и красивая? Еще — хорошо поет. На командирских вечеринках ее всегда просили спеть что–нибудь из популярных тогда кинофильмов, и она, послушно поднявшись за столом, охотно пела красивым сопрано. Может, за этот ее песенный талант он и полюбил ее, увидев однажды на шефском концерте; спустя три месяца они поженились. “Пан дуже коха жона?” — не дождавшись его рассказа, продолжала спрашивать Станислава Викентьевна. “Конечно!” — вполне искренне ответил он, почувствовав, как защемило сердце от давней, уже ставшей привычной боли. Привычную боль лучше было не трогать, наверно, чуткая учительница поняла это и заговорила о том, что болело у самой. “А я дужо, дужо кохам муего Юрека, — вдруг дрогнувшим голосом сказала она. — Так кохам, як можно кохать тылько змарлэго. Бедны муй, нешчэнсливы поручик...” Что ж, подумал Булавский, хорошо, когда любят солдата. Но живого. Потому как что толку любить погибшего? Но тут же усомнился: может, это его мужская логика? По женской же, может, иначе? Вполне возможно, что иначе...

Но ведь вот и он любил свою Нинку — возможно, уже мертвую, растерзанную где–нибудь на дороге во время бомбежки, засыпанную землей, давно похороненную... Что–то же остается от человека даже после его непродолжительной жизни? Но остается в сердцах и памяти близких. У далеких и незнакомых ничего остаться не может. Чего не было при жизни, то не может сохраниться после смерти. Из ничего получается ничто. Но у него было. Была любимая жена, дочь Олечка — ласковый, смышленый ребенок. Как же они могут бесследно исчезнуть из его души?

Пока он лежал в боковушке, его сильно угнетало чувство неловкости, которое приходилось испытывать по утрам, справляя неизбежную надобность. Для этой цели бабушка ставила под топчан старую жестяную посудину, и он старался улучить время, когда обе хозяйки отлучались из хаты. Вся эта процедура стоила ему немалых усилий. Особенно скверно было от ощущения унизительного бессилия.

В то утро он поздно поднялся с топчана. В хате никого не было, и он решил испробовать себя на мобильность. На одной ноге проскакал к порогу, то и дело хватаясь за стены и дверные косяки. На пороге взял бабушкин сковородный ухват на длинной ручке и кое–как добрался с ним до уборной за углом хлева. Его никто не заметил. Согнувшись в бороздах, женщины на огороде копали картошку. Голова неприятно кружилась, он пьянел от своей отчаянной вылазки и свежего прохладного воздуха. Добравшись обратно до боковушки, сел на топчан и сидел, чувствуя, однако, что надобно лечь. И в тот момент за окном мелькнула фигура в черной пилотке, с винтовкой на плече, за ней вторая. Это были полицаи. Несомненно, они направлялись в хату. С дрогнувшим сердцем Булавский торопливо прыгнул к двери и прикрыл себя ситцевой занавеской.

Опережая полицаев, в хату вбежала Станислава Викентьевна, заглянула в боковушку и, увидев пустой топчан, отпрянула — в дверь уже входили полицаи. Между ними и хозяйкой начался грубый разговор по–польски, из которого Булавский понял, что полицаи пришли чего–то требовать от учительницы, которая отчаянно что–то отрицала. Или от чего–то отказывалась, то и дело повторяя: “Я не вем, я не вем...” Едва удерживаясь на одной ноге за занавеской, он ждал, когда полицаи уберутся, но, похоже, те устраивались надолго. Полицай, что был помоложе, уселся к столу, грохнув о пол прикладом, другой продолжал приставать к учительнице, которая почти в отчаянии молила: “Рэнки, пан! Ниц рэнки!” Не обращая внимания на протесты, здоровенный полицай принялся теснить учительницу к боковушке; ударившись плечом в перегородку, наконец протолкнул ее в дверь; Станислава Викентьевна отчаянно отбивалась, и Булавский прикидывал, как выхватить из–под подушки ТТ. Но не успел: полицай возле топчана уже заламывал учительнице руки. Теряя самообладание, Булавский вскрикнул: “Сволочь!” и выскочил из–за занавески. Содрогнувшись в испуге, полицай оставил жертву и медленно обернулся.

В первый момент Булавскому показалось, что он спас Станиславу Викентьевну, но тут же понял, что погубил. И Станиславу Викентьевну, и бабушку, застывшую у порога, и себя тоже. Полчаса спустя его уже волокли куда–то по улице, рядом в накинутом на плечи домашнем платке шла Станислава Викентьевна. Со двора доносился негромкий плач бабушки.

Потом в землянках и бараках шталагов он немало передумал над своим безрассудным поступком и не находил выхода из той ситуации. Что он мог тогда сделать иначе? Может быть, поступи он иначе, его жизнь сложилась бы не так беспросветно, может, полицай его и не заметил бы. Тем более что, как потом оказалось, полицаи приходили вовсе не за ним — о нем они еще не успели пронюхать. Но как ему было бы оставаться в той хате? Или надобно было уйти? Но куда он мог уйти с не сгибающейся в колене ногой? А главное— как бы он смог глядеть в глаза этим женщинам. И не только этим... Наверно, он бы не смог больше любить и свою Нинку. Живую или уже мертвую. Наверно, в тот момент, когда он перестал управлять собой, неведомые силы руководили им, и в безрассудном порыве отступила логика, и победила моральная власть инстинкта. В этом, однако, нет ни его вины, ни его доблести, все это присуще человеку. Если он человек, конечно.

Гауптвахта пробуждалась рано, как только начинало светать. В коридоре слышалась команда: “Подъем!”, выводные отбирали из камер дощатые топчаны и по одному начинали выводить — на оправку. Процедура, в общем, почти одинаковая что у немцев, что здесь. Всюду торопят — быстро, быстро,— словно под арестом у них само время.

Выводных было всего двое, и они сначала выпускали арестантов из соседних камер, Булавского вывели последним. Он числился на гауптвахте вроде временным, или прикомандированным, или как они еще могли его называть? Наверно, по этой причине и отношение к нему было особенным — настороженность, смешанная со сдержанным интересом, читалась в узких глазах выводного–узбека. Не бойся, не убегу, мысленно говорил ему Булавский, от своих не убегают. Я не шпион, не диверсант... Но тут же у него возникал вопрос: а кто же он? По–видимому, жертва. Да, именно жертва. Но почему жертва? Война окончилась, он живым вернулся на родину. Пусть не победитель — к победителям он не мог причислить себя. Но и не жертва. Очень не хотелось ему оказаться в этой малопочтенной, если не постыдной роли, но и другой для себя он определить не мог.

Справив нужду в солдатском сортире, он невольно задержался на пустом дворе, с трех сторон огороженном глухим дощатым забором. С четвертой высилась кирпичная стена соседнего дома, с наглухо замурованными окнами. Подле этой стены привольно разбросал ветви старый каштан. Крона дерева за весну оделась листвой и, по–видимому, за прошедшую ночь густо убралась множеством белых свечей — будет урожайный год на каштаны. Два последних военных месяца, которые Булавский пробыл во Франции, он только и питался каштанами — голод заставил. Голод терзал его почти все годы войны и вынуждал привыкнуть к самой невообразимой пище. Потому что к голоду привыкнуть нельзя. Как и к предательству.

Похоже на то, что его действительно предали. И кто — самый близкий, родной, нежно любимый им человек. Впрочем, только такой и может предать. Не предаст же чужой и далекий — тому предавать нечего. Но он долго не мог в это поверить. Вернувшись из плена, он многие месяцы писал запросы. Работал в стройтресте сторожем и, отдежурив ночь, запирался в пустом вагончике и писал. Куда только было возможно: в военкоматы, адресные бюро, паспортные столы, горисполкомы и домоуправления. Никого из знакомых или сослуживцев он не мог разыскать, приходилось обращаться к незнакомым людям. И он напал на ее след... Но она уже носила другую фамилию и его не признала. Ни на одно из своих двенадцати писем он не получил ответа. Впрочем, один ответ все–таки был, и он обескуражил его. На казенном бланке какого–то исполкома сообщалось, что гражданка Филиппова Н.И. супругой гр. Булавского не является и просит оставить ее в покое. Но гражданка Филиппова до войны проживала под фамилией Булавская — это он выяснил точно.

Прояснением данной ситуации скоро заинтересовались и “компетентные” органы. Особенно после того, как его бывшая жена предъявила им справку о том, что военинженер III ранга Булавский погиб 23 июня 1941 года и исключен из кадровых списков КА. На основании этой справки вдова несколько лет получала пособие и, по всей видимости, вышла вторично замуж. Но ведь он еще год назад сообщил ей, что жив, но не получил ответа. “Мы посылали гражданке Филипповой ваше нынешнее фото, и она сделала письменное заявление, что вы — не ее первый муж. Так кто вы в действительности?” — добивались от него в СМЕРШе.

Чтобы оправдаться, доказать, что он — это он, ему крайне нужны были документы, которых у него решительно никаких не сохранилось. Не было и свидетелей — сослуживцев, соседей, родственников. Сразу после освобождения из плена он съездил в Витебск, побродил по его развалинам — на месте дома, где он родился, в человеческий рост вымахали лопухи. Не сохранилось и переулка возле Суражского шоссе, где он жил. Его прошлое оказалось безнадежно отсеченным от его нынешней жизни, хоть начинай жизнь сначала. Если бы это было возможно.

Он пережил, казалось бы, все: тяжелое ранение, унижение плена. Изнемогая от непосильного труда в угольных штреках Рура, изо всех сил старался держаться, не надломиться, не свалиться в небытие. О родине он думал немного, знал: родина для него уже перестала быть матерью, а после плена наверняка станет мачехой. Родной матери у него давно не было, отца тоже. Сослуживцы по большей части полегли на белорусских полях в сорок первом. Но он надеялся, что где–то живы две его самые родные души — жена и дочь, и эта надежда согревала его, была для него спасением. Надо было только стерпеть, выжить, дождаться...

И вот дождался. Очной ставки.

В камеру принесли завтрак — железную миску перловки, к которой он не притронулся. Ходил из угла в угол, чтобы как–нибудь совладать со все более охватывающим его беспокойством. Четверть часа спустя в камеру заглянул выводной: “Ну, ты будешь есть или забрать?” Он только махнул рукой. Он с нетерпением ждал следователя, который пришел лишь к полудню.

Весело переговариваясь у входа с начальником гауптвахты, немолодым старшим лейтенантом технической службы, Терехин кивнул выпущенному в коридор арестанту и вывел его на улицу. Привычно прихрамывая, Булавский покорно шел за капитаном. С нагретой полуденным солнцем улицы они скоро свернули в крохотный скверик, на углу которого скучающе приткнулись к бордюру две деревенские бабки с раскрытыми торбочками подсолнечных семечек. Обе испуганными взглядами проводили его до поворота. Только здесь, на неметеной, забросанной окурками дорожке, Булавский обнаружил за собой конвоира— ладного, плечистого солдата с автоматом на ремне. Похоже, на этот раз конвоир был не из караула, возможно, из контрразведки. Значит, они действительно его подозревают, подумал Булавский. Плохо тогда его дело — эти напрасно подозревать не любят.

Отдел контрразведки СМЕРШа занимал некогда ухоженный буржуазный особняк с острой черепичной крышей; через обитую железом калитку они прошли во внутренний двор с несколькими легковыми машинами у дальней стены. Прошли в комнату на первом этаже — пустую, с единственным столом у зарешеченного окна, двумя стульями, наверное, выделенную для допросов. Капитан Терехин, поглядывая на часы, с видимым беспокойством то и дело подбегал к окну, машинально задавая пустые вопросы:

— Ну как — ничего? Выспался? На гауптвахте только и спать — правда? Как на курорте...

В который раз взглянув на часы, тихо произнес про себя: “Опаздывают”,— повернулся к Булавскому:

— Ну вот что! Пока есть время, садись за стол, пиши автобиографию. Поподробнее только.

Булавский покорно опустился на стул сбоку, придвинул поданный ему лист бумаги. Писание подследственными автобиографий было любимой процедурой следствия. На эти автобиографии еще в фильтрационном лагере изводилась масса бумаги, и он тогда думал: читают ли их вообще? Оказалось, не только читают — скрупулезно изучают, а главное, сравнивают и анализируют, стремясь уловить противоречия. В случае, если две написанные человеком автобиографии оказывались совершенно тождественными, это тем более казалось им подозрительным. По–видимому, они полагали, что подследственный заучил легенду и не может отступить от нее. И так, и эдак было плохо. Для подследственного, разумеется.

Стоя у окна и не оборачиваясь к Булавскому, капитан начал говорить что–то, как бы с намеками, не договаривая:

— Понимаешь, скоро они приедут, и ты посмотри, она ли это? Даже если она, понимаешь... Все–таки женщина. Если не признает, зачем тебе ее признавать?

— Как? — не мог чего–то сообразить Булавский.

— Ну, понимаешь, зачем портить ей жизнь? И ему тоже. Большой человек. Заслуженный...

— Ах вот что! — протянул Булавский. — А он кто, этот заслуженный человек?

Капитан поежился, как от чего–то докучливого, еще раз взглянул в окно.

— Ну понимаешь... Он ответственный начальник. Из наших органов...

— Понятно, — только и нашелся сказать Булавский.

Кажется, ему действительно кое–что становилось понятно. По всей видимости, дело было не в ней, его бывшей жене Нине Ивановне, — дело в ее новом муже. О нем и заботился следователь. Что ж, подумал Булавский, может, капитан и прав: не надо упорствовать. Зачем портить обоим жизнь, пусть живут долго и счастливо. Без Булавского, разумеется, — он здесь лишний. И он решил про себя: если она его не признает, он ее не узнает тоже. Пусть все будут довольны. Тем более ее заслуженный муж, который из органов. Спасибо, товарищ капитан, за подсказку.

В очередной раз вглядевшись в окно, капитан встрепенулся — они приехали. Прошуршав по песку колесами, во дворе остановилась машина, сразу же умолк двигатель. Терехин поспешно занял за столом свое место, Булавский остался сбоку. Широко распахнув дверь, в комнату вошли два офицера— высокий блондинистый капитан и пожилой майор с заметным брюшком под кителем — похоже, ответственный чин из военной прокуратуры. Они перекинулись с Терехиным несколькими маловразумительными фразами и кому–то скомандовали за дверью: “Пусть войдет”.

Булавский весь напрягся на стуле, готовясь к самому, может быть, важному моменту в своей жизни. Чувствовал, сейчас что–то решится, от чего переменится его судьба. Как он ни старался сохранить спокойствие — оно ему не давалось, сразу стало подниматься давление, застучало в висках. И вот растворилась дверь, и в комнату как–то замедленно–робко вошла молодая женщина в легком крепдешиновом платье, с черной сумочкой в руках. Светлые волосы ее были по моде взбиты надо лбом и густо опадали на плечи. Несмелым взглядом она окинула офицеров, следователя за столом и его рядом тоже. Кажется, она не подала виду, но он все–таки заметил, как взгляд ее дрогнул, потом она стала смотреть только на следователя. Конечно, это была Нинка, его Нина Ивановна, которую он не видел столько лет. Она вроде даже не изменилась, разве пополнела немного и, кажется, что–то утратила от своей прежней самоуверенности.

— Гражданка Филиппова, вы узнаете этого человека? — спросил Терехин.

Нина внимательно, без робости посмотрела на бывшего мужа, слегка прикусила краешек губы и молча покачала головой.

— Посмотрите внимательнее и скажите: вы его не узнаете?

— Нет, — ответила она едва слышно.

— Так, хорошо, — продолжал свое дело следователь и обратился к Булавскому:

— А вы, гражданин подследственный, узнаете в этой женщине бывшую свою жену?

Пробил его час. Сейчас Булавский что–то ответит, и свершится главный вердикт его несчастной судьбы. Пусть он будет строг, но справедлив. Он взглянул в лицо Нины, их взгляды встретились, и в знакомых глазах жены он прочел давнюю, застарелую жалость — к себе или, может, и к нему тоже.

— Нет, — произнес он почти вопреки своей воле, тотчас почувствовав, как что–то в нем разом сместилось со своего привычного места. Это, похоже, испугало его, но что–либо исправить, наверно, было уже поздно.

— Значит, вы — незнакомые люди? Так? — завершал свою процедуру следователь Терехин.

Офицеры у стены, Терехин, Нина напряженно ждали, предугадывая его последний ответ. И он тихо произнес одними губами:

— Так.

Что ж, похоже, все было окончено; больше у этих людей в погонах дела к нему и его бывшей жене не было. Нина Ивановна повернулась и, не прощаясь, тихо вышла из комнаты, за ней вышел блондинистый капитан. Толстый прокурор подошел к столу Терехина, который что–то торопливо писал.

— Ну, а с этим что? — кивнул он в сторону Булавского.

— Будем разбираться, — буркнул капитан.

— С ним надо работать. Видно, не простая птичка.

— Да уж конечно...

Все еще находясь под впечатлением происшедшего, Булавский не сразу расслышал и не очень понял, о чем они. О ком? Когда же наконец смысл их слов достиг его смятенного сознания, он внутренне съежился — так вот что! Это он — не простая птичка. Может, и не Булавский вовсе? Впрочем, он же и сам подтвердил это. Называется, пошел навстречу. Выручил бывшую жену и ее заслуженного мужа. А сам как же?

В полном смятении мыслей и чувств он направился к выходу, куда ему указал капитан, с каменным лицом последовавший сзади. Куда–то его вели, — может, опять на гауптвахту. В коридоре следователь зашел вперед, сзади пристроился конвой — на этот раз два автоматчика, и Булавский понял: дела его плохи. Доселе были плохи, стали еще хуже.

Его вывели со двора, вслед за следователем перевели на другую сторону улицы — к знакомому скверу. Здесь было прохладнее в тени деревьев, у входа в сквер лежала опрокинутая урна с мусором. На свежевыкрашенной в зеленый цвет скамейке прилепилась развернутая газета, — видно, ночью на ней кто–то сидел. Может, какая–нибудь влюбленная парочка, подумал Булавский и, услышав шум проходящей мимо машины, обернулся. Быстро проехал “виллис”, на заднем сиденье его мелькнула знакомая фигурка в цветастом крепдешиновом платье с прильнувшей к ней светловолосой девочкой — ветер трепал ее пышный бант на макушке. “Оля!” — взметнулся в нем немой крик, тут же оборванный сухим окриком сзади: “Не отставать, не отставать!” В самом деле, капитан, не оглядываясь, быстро шел впереди, хромой арестант отставал. Может, это и не Оля, подумал он. Кто сидел на переднем сиденье “виллиса”, он так и не успел заметить.

Что ж, может, и правильно. Может, и правильно он поступил — так будет лучше. Хотя бы для них. О себе почему–то не хотелось думать, он не распоряжался собой. Ни теперь, ни в прошлом. Им распоряжались другие. Люди, начальство, судьба. И так всю жизнь.

Всю его проклятую, беспросветную жизнь...